

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



С. Т. Аксаков

ДЕТСКИЕ ГОДЫ
БАГРОВА-ВНУКА



Сергей Тимофеевич Аксаков
Детские годы Багрова-внука
Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6899742
Детские годы Багрова-внука [Вступ. ст., примеч. и словарь В. Богданова]: Дет. лит.; Москва;
2001
ISBN 5-08-003995-7

Аннотация

Становление личности ребенка, воспитание души – вот главная тема автобиографической повести С. Т. Аксакова.

Содержание

Становление человека	5
Детские годы Багрова-внука	13
К читателям[1]	14
Вступление	15
Отрывочные воспоминания	16
Последовательные воспоминания	21
Дорога до Парашина	25
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Сергей Тимофеевич Аксаков

Детские годы Багрова-внука

Повесть



1791 - 1859

Становление человека

Замысел книги для детей возник у Сергея Тимофеевича Аксакова в 1854 году. В шуточном стихотворении, написанном на день рождения внучки, он обещает ей прислать через год свою книжку «про весну младую, про цветы полей, про малюток пташек... про лесного Мишку». Но проходит два года, и Сергей Тимофеевич сообщает Оле: «... дай Бог, чтобы к будущему дню твоего рождения она была готова. Да и книжка выходит совсем не такая, какую я обещал тебе». Она явно переросла начальный замысел: изменились и содержание ее, и цель, и объем.

«Детские годы Багрова-внука» – так озаглавил Аксаков свое произведение – появились на страницах журнала «Русская беседа» в отрывках, а через год, в 1858 году, отдельной книгой. За два года до этого Аксаков напечатал «Воспоминания», где рассказал о своем отрочестве и своей юности, которые прошли в Казанской гимназии и университете. «Воспоминания» были изданы вместе с «Семейной хроникой» – хроникой жизни старшего поколения Багровых. Все журналы, отмечал Н. А. Добролюбов, «полны были восторженными похвалами художественному таланту г. Аксакова, обнаруженному им в «Семейной хронике». Авторитет С. Т. Аксакова установился с тех пор незыблемо. Его некоторые поставили главою современной русской литературы». И теперь, когда появились «Детские годы Багрова-внука», жизнь главного героя всех трех книг обрела недостающее хронологическое звено, и образовалась художественно-автобиографическая трилогия. В истории русской литературы она встала рядом – даже хронологически – с «Детством», «Отрочеством» и «Юностью» Льва Толстого.

К тому времени Сергею Тимофеевичу было далеко за шестьдесят. Почему же так поздно начинается его творческая биография, биография писателя-реалиста? И это тем более удивительно, что все в нем обещало куда более ранний писательский дебют. Но должны были пройти десятилетия, прежде чем Аксаков твердо и окончательно оценил своеобразие возможностей, заложенных в природе его таланта. Сравнивая себя с теми писателями, которые обладают талантом «чистого» вымысла, Аксаков убеждается: «Заменить... действительность вымыслом я не в состоянии. Я пробовал несколько раз писать вымышленные происшествия и вымышленных людей. Выходила совершенная дрянь, и мне самому становилось смешно... Я только передатчик и простой рассказчик: изобретения у меня на волос нет... Я ничего не могу выдумать: к выдуманному у меня не лежит душа, я не могу принимать в нем живого участия».

Долгая жизнь, предшествующая началу работы над трилогией, жизнь, тесно связанная с литературой, подводит Аксакова и еще к одному, пожалуй, самому главному выводу – к мысли об исключительной плодотворности реалистических и гуманистических устремлений русской литературы. На них он и отзовется своей трилогией.

Сергей Тимофеевич родился в 1791 году в Уфе. Отец его служил прокурором, мать принадлежала к чиновной аристократии. Свои ранние годы он провел в степном имении деда, родовитого, хотя и не очень богатого дворянина. После его смерти это имение – Новое Аксаково – переходит к отцу будущего писателя. В 1800 году Сережу помещают в Казанскую гимназию, в которой учился когда-то Державин, а с осени 1804 года он – студент Казанского университета.

В детские годы на формирование будущего писателя исключительное влияние оказала его мать Мария Николаевна. Между ними установились дружеские, редкие по своей исповедальной доверительности отношения. Мать разделяет и горести и радости своего сына, рассеивает его сомнения и недоумения, выступает его советчиком, укрепляя в решениях и предостерегая от опрометчивых поступков.

Принадлежность к привилегированному сословию, замечал Добролюбов, освобождала дворян от необходимости рано втягиваться в «практическую жизнь», и живой, восприимчивый мальчик обратился «исключительно к природе и своему внутреннему чувству и стал жить в этом мире».

Переживанию природы Сережа отдается с такой силой и душевной самоотдачей, что это даже пугает мать. В свою любовь к природе мальчик вкладывает не только страсть, но и талант натуралиста, которым он, несомненно, обладал: радуясь приходу весны, он замечает ее приметы, пытливно наблюдает, как выют гнезда и выращивают потомство птицы. В гимназии естествознание, или «натуральная история», стало его любимейшим предметом, что конечно же позднее помогло Аксакову написать интереснейшие книги об ужении и разных охотах.

Рано входит в духовный мир мальчика и народная поэзия: песни, исторические предания, обрядовые игры. Завороженный, слушает он в долгие зимние вечера сказительницу Пелагею, ключницу из крепостных. В ее замечательной памяти хранились и русские сказки, и множество восточных. Одну из них – «Аленький цветочек» – Сережа не только выучил наизусть, но и «сам сказывал ее, со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханьем Пелагеи». А совместные семейные чтения по вечерам приохотили Сережу и к книгам.

Чтение, разжигая воображение Сережи, и без того не по годам развитое, устремляет его по новому направлению: я «пускался в разные выдумки и рассказывал разные небывалые со мной приключения, некоторым основанием или образцом которых были прочитанные мною в книжках или слышанные происшествия». Более того, он вступает в соревнование... с Шехеразадой, вставляя в ее сказки «добавления... собственной фантазии». Сережу уличали, он, озадаченный, переживал и недоумевал. А между тем эти «добавления» творило не обычное детское воображение, а просыпающаяся в нем творческая фантазия. «Я был тогда очень правдивый мальчик и терпеть не мог лжи; а здесь я сам видел, что точно прилгал много на Шехеразadu. Я сам был удивлен, не находя в книге того, что, казалось мне, я читал в ней и что совершенно утвердилось в моей голове».

Рано пробуждается в мальчике и «непреодолимое, безотчетное желание передавать другим свои впечатления с точностью и ясностью очевидности, так, чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах», какое он сам имел о них. Это желание, столь важное, необходимое для будущего писателя, Сережа унаследовал, видимо, от матери, которая владела редким даром слова.

В Казанской гимназии юный Аксаков, как он сам вспоминает, «начал потихоньку пописывать», горячо поддерживаемый учителем словесности. И скоро, продолжает писатель, «виршами без рифм дебютировал... на литературной арене нашей гимназии». Когда Аксакова переводят в студенты созданного в Казани университета, приходит и увлечение театром. Очень скоро его признают премьером студенческого театра и даже выбирают директором и режиссером. «Я имел решительный сценический талант, и теперь думаю, что театр был моим настоящим призванием», – писал Аксаков на склоне лет. Во всяком случае, слава его как чтеца была столь широко известна, что Державин с нетерпением ждал его приезда в Петербург, чтобы «послушать себя», то есть послушать свои произведения в чтении Аксакова.

И вот когда молодой Аксаков достиг зенита своей славы, становится очевидным, что и произведения, которые представлялись Аксакову образцовыми, и манера актерской игры, которой он следовал, явно отстают от наметившегося в литературе движения к реализму.

В русской литературе развивается и крепнет движение за ее обновление, разгорается борьба против классицистической эстетики, сдерживающей художественное освоение русской действительности, ее самобытных характеров. Аксаков же увлекается «Рассуждениями о старом и новом слоге» А. С. Шишкова, нацеленными против всех жаждущих этого обнов-

ления. В драматургии, на сцене классицизм с его жесткими правилами начинает уступать место принципам жизненной достоверности и естественности. Аксаков же восхищается, увлекается предельно сентиментальными и мелодраматическими пьесами Августа Коцебу! И Аксакову нужно было увидеть игру П. А. Плавильщикова, известного драматурга и актера, одного из тех, кто разрушал классицистические каноны, чтобы понять, что его сносит куда-то в сторону от магистральных устремлений русской литературы: «Яркий свет сценической истины, простоты, естественности тогда впервые озарил мою голову».

Позднее, в «Воспоминаниях», Аксаков с раскаянием признает и свое «староверство и в литературе», и правоту своего гимназического наставника Григория Ивановича Карташевского, который удерживал его от подражательных скороспелок.

Но так складывается жизнь Аксакова, что, оставив университет в 1807 году, он еще дальше удаляется от «хороших примеров», а его появление в реалистической литературе откладывается на десятилетия. В Петербурге, куда он приезжает, чтобы служить, он знакомится с Шишковым, посещает его дом. Здесь на его глазах возникает общество «Беседа любителей русского слова», в которое вошли по преимуществу как раз литературные староверы. Общение с ними серьезно препятствовало «образованию своего вкуса».

Переехав из Петербурга в Москву, Аксаков в 1816 году женится – женой его стала дочь суворовского генерала О. С. Заплатина – и решает поселиться навсегда в деревне, чтобы заняться сельским хозяйством. Но, в отличие от своих деда и отца, Сергей Тимофеевич хозяйником оказался плохим, и в 1826 году он с разросшейся семьей вновь появляется в Москве и поступает на службу в Московский цензурный комитет.

Аксаков сближается с литераторами, драматургами. Разделяя еще некоторые догматы классицистической эстетики, Аксаков вместе с тем проявляет горячий интерес к реалистической игре М. С. Щепкина и, обеспокоенный будущим русского театра, призывает «создать новый театр, народный. Все рамки и условия к черту!». Когда в журналах поднимается волна реакционной критики, направленной против Пушкина, Аксаков выступает в печати с открытым «Письмом». Защищая Пушкина от нападок, он раскрывает непреходящее значение его поэзии: Пушкин, по его мнению, «имеет такого рода достоинство, какого не имел еще ни один русский поэт-стихотворец: силу и точность в изображениях не только видимых предметов, но и мгновенных движений души человеческой». Пушкин, вспоминает Аксаков, остался «очень доволен» его «Письмом».

Решительный поворот в литературно-эстетическом развитии Аксакова происходит в 1830-е годы.

Атмосферу в семье Аксаковых – и в этом большую роль сыграла его жена Ольга Семеновна – всегда отличала насыщенность духовными, интеллектуальными интересами. На аксаковские «субботники» регулярно в течение многих лет собирались крупнейшие литературно-театральные деятели Москвы – актер М. С. Щепкин, композитор А. Н. Верстовский, историк М. П. Погодин, писатели М. Н. Загоскин, Н. Ф. Павлов, профессора Московского университета С. П. Шевырев и Н. И. Надеждин. Весной 1832 года в доме Аксаковых стал бывать Гоголь. Когда подросли сыновья, в доме Аксаковых появляются В. Г. Белинский, Н. В. Станкевич и другие товарищи старшего сына Константина по Московскому университету. Сергей Тимофеевич принимает самое активное и живое участие в их беседах и горячих спорах на острые и злободневные тогда исторические, философские, эстетические темы. Сергей Тимофеевич проникается и одушевляется теми интересами, которые увлекали сыновей и их товарищей и которые во многом определили идейную жизнь русского общества на целые десятилетия.

Аксаков окончательно освобождается от консервативных литературно-эстетических представлений и вкусов, и место былых авторитетов занимает теперь вслед за Пушкиным Гоголь. Могучий художественный талант Гоголя, проявившийся в реалистическом изобра-

жениии русской социальной жизни, Аксаков приветствует одним из первых, назвав Гоголя «писателем действительности» (у Белинского – «поэт жизни действительной»). В то же время, подчеркнем, несмотря на благоговейное отношение к Гоголю, установившееся в доме Аксаковых, Сергей Тимофеевич пытается отговорить Гоголя от печатания его новой книги «Выбранные места из переписки с друзьями», а когда книга все же появляется, он определяет ее как «чрезвычайно вредную».

В 1834 году Аксаков публикует в одном из альманахов свой очерк «Буря». Правдивое, как бы с натуры сделанное описание снежного шквала предвосхищает описание бурана в «Капитанской дочке» Пушкина, который, заметим, высоко оценил этот очерк. «Буря» свидетельствовал о том, что реалистические принципы возобладали не только в литературно-эстетических убеждениях Аксакова, но и в его письме.

В те же годы у Аксакова появилась возможность целиком отдаться литературному творчеству, к чему поощряли его (блестящего рассказчика неведомых историй, семейных преданий) и Гоголь и другие многочисленные друзья. Став после смерти отца, в 1837 году, достаточно обеспеченным человеком, он покупает под Москвой имение Абрамцево, которое очень скоро превратилось в один из культурных и художественных центров России. Здесь Аксаков и принимается за работу над «Семейной хроникой», которая, однако, прерывается самым неожиданным образом: его, страстного охотника и «натуралиста», захватывает вдруг стремление описать все свои охотничьи перипетии и наблюдения, и он отдается работе над охотничьими книгами.

«Записки об ужении», появившиеся в 1847 году, быстро завоевали признание и читателей и критики. Правдивое живописание, точная, выразительная речь сделали книгу замечательным явлением не только в «специальной», но и в художественной литературе. Окрыленный успехом книги, Аксаков приступает к «Запискам ружейного охотника». За работой над ними с живейшим интересом следит Гоголь: он знакомится в рукописи с отдельными фрагментами, делает замечания, дает советы, хвалит автора. «Записки ружейного охотника» были оценены еще выше, чем первая книга. Подкупала в них и достоверность описаний, и стремление показать образ жизни рыб, и великолепный язык Аксакова. «Слог его мне чрезвычайно нравится, – писал Тургенев. – Это настоящая русская речь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая».

Но значимость художественного произведения, глубина и подлинность реализма определяются изображением жизни общественной, тем, насколько глубоко писатель проникает в существенные черты и особенности социальных отношений и обстоятельств. И Гоголь прекрасно это понимал, когда, поддерживая замыслы охотничьих книг, в то же время настойчиво склонял Аксакова к написанию истории своей жизни. После появления в печати отрывка из «Семейной хроники» Гоголь пишет автору: «Мне кажется, что, если бы вы стали диктовать кому-нибудь (с начала 1840-х годов у Аксакова начинается прогрессирующая болезнь глаз. – В. Б.) воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми, с которыми случилось вам встретиться, с верными описаниями характеров их, вы бы усладили много этим последние дни ваши, а между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека. Это не безделица и не маловажный подвиг в нынешнее время, когда так нужно нам узнать истинные начала нашей природы...» Письмо это в дальнейшей перспективе творческой биографии С. Т. Аксакова можно рассматривать – без преувеличения – программным.

Глубоким последовательным реалистом Аксаков выступает уже в «Семейной хронике». В 1856 году, когда она появилась, русское общество живет ожиданием отмены крепостного права. Это установило строго определенный ракурс для восприятия хроники критикой и читателями. Тогда преимущественное внимание обратили на изображение в ней крепостнических нравов. Но Аксаков предстает в «Семейной хронике» не только правдивым

быто– и нравописателем, а в еще большей степени зрелым и тонким писателем-психологом. Следуя за Пушкиным, Аксаков добивается точности в изображении и «видимых предметов», и «движений души человеческой». Правда, движения, а тем более диалектики души здесь еще мало. Но психологические портреты героев, коллизии, возникающие в их внутренней жизни, воспроизведены в хронике выразительно и рельефно. И куда совершеннее психологическая живопись в «Детских годах Багрова-внука», где автор поднимается подчас до уровня его великого современника – Льва Толстого.

«Это, – писал Аксаков, завершая работу над книгой, – должно быть (хорошо, если будет) художественным воспроизведением моих *детских лет*, начиная с третьего до девятого года моей жизни» (курсив наш. – В. Б.). Воспоминания детских лет легли в основу книги, которая поэтому является звеном и биографии и творчества Аксакова.

И казалось бы, у критики и читателей были все резоны считать «Детские годы Багрова-внука» только воспоминаниями Аксакова, отмечать тождество Аксакова и Багрова, хотя от своего, от первого лица автор ведет рассказ только в «Воспоминаниях», а в двух других частях трилогии он, по словам Добролюбова, «прикрылся» именем Багрова.

Но почему же Аксаков, повествуя о своем детстве, о жизни своих родных и близких, «прикрылся» псевдонимом? Но почему же Аксаков предпослал книге специальное «предупреждение» читателям, в котором категорически отрицал тождество между собой, автором, и Багровым-внуком, этим конечно же вымышленным рассказчиком?

Одна из причин – это, как считает Иван Аксаков, младший сын писателя, желание прекратить неприятные для Аксаковых и Куроедовых «толки и пересуды», какие могла вызвать «Семейная хроника»: старшие представители этих семейств выглядят в ней типичными крепостниками. Аксакову пришлось преодолеть сильную «оппозицию» семьи и родных, возражавших против публикации обличительных сцен «Хроники».

Но была и более важная, собственно художественная причина, обратившая автора к помощи псевдонимов. Как мы помним, у писателя не лежала душа к выдуманному. Его произведения предельно автобиографичны. Но писатель стремится теперь не только к соблюдению достоверности, но и к художественным обобщениям. В живых лицах он выявляет, в духе гоголевских традиций, характеры. И книга получает название «Детские годы Багрова-внука». Аксаков, иначе говоря, пошел по тому же пути, что и Лев Толстой, озаглавивший свою первую повесть, тоже автобиографичную, «Детство». И Толстой очень был недоволен тем, что редакция журнала произвольно изменила заглавие. «История моего детства» противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории *моего* детства?...» – писал он Некрасову.

Устремленный к выявлению общезначимого, общеинтересного, Аксаков типизирует изображаемое и тем, что ослабляет одни связи между реальными, «аксаковскими» фактами, лицами и акцентирует другие, и тем, что усиливает голос рассказчика, делает самого его не только передатчиком случившегося, но и вдумчивым истолкователем событий. Так, автора в детстве увлекали сказки, надолго овладевая его горячим воображением: «Где же скрывается тайна такого очарования?» И эту тайну он видит «в страсти к чудесному, которая, более или менее, врождена *всем детям*» (курсив наш. – В. Б.). Так, Сереже понравилось, что купленную его отцом деревушку заранее называли Сергеевкой. Автор объясняет столь рано проснувшееся в нем чувство собственности общими свойствами детской психологии: «Чувство собственности, исключительной принадлежности чего бы то ни было, хотя не вполне, но очень понимается дитятей и составляет для него особенное удовольствие».

Преимущественный интерес Аксаков проявляет к внутреннему миру своего героя. Вот почему с таким пристальным вниманием следит он за возникновением и развитием душевных движений, даже самых незначительных, даже самых смутных, не поддающихся подчас и определению.

«Голова моя была старше моих лет», – сетует Сережа Багров. Сетует потому, что такая голова лишала его порой детской непосредственности и отгораживала от сверстников. Эта обгоняющая возраст умственная зрелость выработала у Сережи привычку анализировать и собственные чувства и мысли. Он не только живет впечатлениями. Он делает их предметом анализа, «останавливая» их, подыскивая соответствующие им толкования и понятия и закрепляя в своей памяти. Когда же ему, герою повествования, такая операция не удастся, на помощь приходит Багров повзрослевший, вспоминающий. И на протяжении всей книги мы слышим два повествующих голоса.

Вначале ребенок осваивает мир предметов и внешних явлений. Готовый и устойчивый для взрослых, этот мир является Сереже каждый раз новым, как бы на глазах его рождающимся, а потому ослепительно ярким и загадочным. О переправе через реку Белую он вспоминает: «Я был подавлен не столько страхом, сколько новостью предметов и величию картины, красоту которой я чувствовал, хотя объяснить, конечно, не умел». И потому-то даже те события и подробности, которые читателю могут показаться мелкими, необязательными, для героя книги наполнены важным смыслом. С какой доскональностью рассказывает он о приготовлении миндального пирожного! А как же иначе? Ведь пирожное prepares обожаемая мать, и Сережа ревниво следит за тем, какой эффект произведет оно среди гостей.

Сережа не только поражается, восхищается или возмущается, он и мыслит об этом мире: «Ах, какое дерево!» И тут же: «Как оно называется?» Он допытывается у взрослых, что такое молния, что такое межевание, постоянно пополняя свой «толковый словарь». А в нем и степь (это безлесная и волнообразная равнина), и стойло (это комната для лошадей), и белые избы (это те, что с трубами), и урема (пойменное место)... Багров и позднее будет гордиться своей детской пытливостью: «Не поняв некоторых ответов на мои вопросы, я не оставлял их для себя темными и нерешенными, а всегда объяснял их по-своему».

Расширяются, углубляются знания о внешнем мире – и все чаще и чаще приходит желание практического его освоения. И пусть над Сережей не тяготела необходимость физического труда, пусть от него отвращала Сережу мать с ее дворянскими предрассудками: «Выкинь этот вздор из головы. Пашня и боронба – не твое дело», потребность труда, неотъемлемая от человеческого естества, властно пробуждается и в нашем герое. Сережа «любил внимательно и подолгу смотреть на живую работу столяров и плотников», в восхищение приводит его та «стройность и мерность», с какой молотили цепями гречиху, и наконец ему и самому разрешили попробовать свои силы: «Оказалось, что я никуда не годен: не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошадь, не умею заставить ее слушаться. Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся».

Сережа восхищался не только прелестями полевых работ. Он подмечал и то, какими невыносимо тяжелыми бывают они для крепостных крестьян. И, повзрослев, он не только сострадает, он убеждается в «важности и святости труда», в том, что «крестьяне и крестьянки гораздо нас искуснее и ловчее, потому что умеют то делать, чего мы не умеем».

Передавая историю роста и организации характера своего героя, Аксаков не замыкает его в границы особого детского мира. Обогащенный опытом реалистической литературы, писатель провидит и властное влияние социальных явлений и отношений на формирование ребенка, на формирование в нем Человека. И процесс этот предстает под пером Аксакова сложным и противоречивым. Мир детских впечатлений и переживаний создается в напряженных, иногда очень драматичных для обеих сторон соприкосновениях с миром взрослых.

Чем шире раздвигаются горизонты Сережиного детского мира, тем настойчивее вторгаются в него факты, нарушающие его гармонию. В сознании Сережи никак не укладывается, почему злой староста Мироныч, выгоняющий крестьян на барщину даже в праздник, считается самими же крестьянами человеком добрым, почему наказание учеников розгами не только дозволяется, но и узаконено должностью учителя. Более того: «Самые родители

высеченных мальчиков благодарят учителя за строгость, а мальчики будут благодарить со временем». Почему пасхальный кулич для Багровых «был гораздо белее того, каким разговлялись дворовые люди»? Одни из этих многочисленных «почему» оставались без ответа. Даже его любимая мать, чьим «разумным судом» привык Сережа верить свои впечатления и мысли, и та нет-нет да и одернет его: «Это не твое дело». Другие же «почему» затрагивали такие отношения, которые дети с их врожденной справедливостью вообще не могли понять, а тем более оправдать: «Отчего они (крестьяне. – В. Б.) нам рады и за что они нас любят? Что такое барщина? Кто такой Мироныч? и проч. и проч. Отец как-то затруднялся удовлетворить всем моим вопросам, мать помогла ему... Что такое староста Мироныч – я хорошо понял, а что такое барщина – по моим летам понять мне было трудно». Все это, вспомнит позднее Багров, приводило к «смешению понятий», производило «какой-то разлад в моей голове», возмущало «ясную тишину моей души». Мир взрослых, не всегда понятный для детей, начинает просвечиваться непосредственным, естественным, чисто человеческим детским взглядом. И многое в нем начинает выглядеть не только странным, но и ненормальным, достойным осуждения.

А с другой стороны, жажда понять и осмыслить поступки и отношения взрослых, как-то примирить их со своими представлениями о должном и добром изменяет и обогащает детские переживания и мысли. Как ни наклонен был Сережа к созерцательности, именно внешние впечатления и стали для него теми, как он говорит, «уроками», которые оказали решающее влияние на формирование его внутреннего мира.

Сережа, мы помним, был мальчиком очень правдивым. И в своих воспоминаниях Багров не утаивает от читателя даже того, о чем говорить заведомо считает предосудительным. Он признается в своей трусости (во время верховой езды страх превозмог в нем даже самолюбие, столь сильное у детей); он, при всей своей любви к живому в природе, радуется при виде подстреленных куропаток; ему доставляет удовольствие разбуженное в нем чувство собственности: «Я, будучи вовсе не скупым мальчиком, очень дорожил тем, что Сергеевка – *моя*; без этого притяжательного местоимения я никогда не называл ее».

Переживая дисгармонию внешнего мира, Сережа приходит к сознанию и своего собственного несовершенства: в нем пробуждается критическое отношение и к самому себе, «ясная тишина» сменяется в душе по-детски преувеличенными сомнениями, исканиями выхода.

Но внутренний мир Сережи не раскалывается, не распадается. Он качественно видоизменяется: наполняется социально-психологическим содержанием, в него входят ситуации и столкновения, в преодолении которых и протекает становление человека, подготавливающее его к равноправному участию в жизни.

Повествование в «Детских годах» прекращается накануне важнейшего события в жизни Сережи – предстоит поступление в гимназию. Детство кончилось. Но, закрывая книгу, вспомним Сережу первых ее глав, сравним его с Сережей на пороге его отрочества. Как он духовно, нравственно вырос, возмужал! А произошло это для нас совсем незаметно, как бывает, когда человек растет на наших глазах, как это случилось и в данном случае: неторопливое, обстоятельное повествование Аксакова создало иллюзию течения самой жизни нашего героя.

Изображение взрослеющего, мужающего человека со своим событийным и духовно-эмоциональным миром, беспрестанно и качественно меняющимся, – вот главный пафос книги «Детские годы Багрова-внука». И пожалуй, точнее и полнее других его выразил сам Аксаков: «Жизнь человека в детстве, детский мир, созидающийся под влиянием ежедневных новых впечатлений... Жизнь человека в дитяти».

Последние годы жизни Сергея Тимофеевича Аксакова отмечены удивительной творческой активностью. Несмотря на болезнь – а на стареющего писателя неумолимо надвига-

лась слепота, – он, завершив автобиографическую трилогию, создает примыкающую к ней повесть «Наташа», подготавливает циклы мемуаров. А если присовокупить к этому повесть «Копытьев», оставшуюся, к сожалению, незавершенной, то можно сказать, что Аксаков преодолел и «крайнюю односторонность» своего дарования, которую он усматривал в своей неспособности к «чистому творчеству». Повесть «Копытьев» тем и примечательна, что это, говоря словами самого Аксакова, «выдуманная повесть», это плод творческого воображения, свободного от каких-либо автобиографических мотивов.

В эти годы Аксаков ведет обширнейшую переписку, широко раздвигается и круг его литературных знакомств. В Абрамцево, где он проводит большую часть года, приезжают художники, артисты, писатели. Здесь над вторым томом «Мертвых душ» работает Гоголь. Сюда, приезжая в Москву, спешит попасть Тургенев. Стал бывать у Аксакова и Лев Толстой. Они познакомились в январе 1856 года. «Он умен и серьезен, – пишет Аксаков Тургеневу. – Я ставлю его очень высоко по задаткам, которые он дал нам, и, узнав его лично, еще более надеюсь на его будущую литературную деятельность». Толстой отвечает Аксакову взаимной симпатией. А прослушав в чтении автора отрывки из «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука», он записывает в дневнике: «Чтение у С. Т. Аксакова «Детство» – прелесть!»

Сергей Тимофеевич Аксаков умер на шестьдесят восьмом году жизни, в ночь на 30 апреля 1859 года, в Москве. В некрологе, появившемся в «Современнике», рядом с торжественно-печальными словами о кончине «честного и полезного гражданина» стояли и слова пророческие: «Имя С. Т. Аксакова займет почетную страницу в истории русской литературы!»

В. А. Богданов

Детские годы Багрова-внука

Внучке моей Ольге Григорьевне Аксаковой

К читателям¹

Я написал отрывки из «Семейной хроники» по рассказам семейства гг. Багровых, как известно моим благосклонным читателям. В эпилоге к пятому и последнему отрывку я простился с описанными мною личностями, не думая, чтобы мне когда-нибудь привелось говорить о них. Но человек часто думает ошибочно: внук Степана Михайловича Багрова рассказал мне с большими подробностями историю своих детских годов; я записал его рассказы с возможною точностью, а как они служат продолжением «Семейной хроники», так счастливо обратившей на себя внимание читающей публики, и как рассказы эти представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека в детстве, детский мир, созидющийся постепенно под влиянием ежедневных новых впечатлений, – то я решился напечатать записанные мною рассказы. Желая, по возможности, передать живость изустного повествования, я везде говорю прямо от лица рассказчика. Прежние лица «Хроники» выходят опять на сцену, а старшие, то есть дедушка и бабушка, в продолжение рассказа оставляют ее навсегда... Снова поручаю моих Багровых благосклонному вниманию читателей.

С. Аксаков

¹ Книга вышла первым изданием в 1858 г. в Москве. Авторское предисловие «К читателям» обращает внимание на то, что она продолжает «Семейную хронику», появившуюся в 1856 г. Но «Детские годы...» столь же тесно связаны и с «Воспоминаниями», изданными вместе с хроникой, хотя в них рассказ ведется не от лица вымышленного Багрова, а от имени самого С. Т. Аксакова. Все подстрочные примечания в тексте принадлежат автору.

Вступление

Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности; но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всею яркостью красок, со всею живостью вчерашнего события. Будучи лет трех или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы... Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны и которые могли знать только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле; те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать.

Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства только то, в действительности чего не могу сомневаться.

Отрывочные воспоминания

Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока шестидесятых годов, предметы и образы, которые еще носятся в моей памяти, — кормилица, маленькая сестрица и мать; тогда они не имели для меня никакого определенного значения и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью то в кровати, то на руках матери и горько плачущим: с рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабо освещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди... и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за тридцать верст; она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье; наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть, и приезжала как-нибудь, с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой.

Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желаньем ее видеть и чувством жалости: мне все казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать; я беспрестанно хотел одеть ее своим платьем и кормить своим кушаньем; разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал.

Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них.

Тут следует большой промежуток, то есть темное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего, и я начинаю себя помнить уже очень больным, и не в начале болезни, которая тянулась с лишком полтора года, не в конце ее (когда я уже оправлялся), нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз, рано утром, я проснулся или очнулся, и не узнаю, где я. Все было незнакомо мне: высокая, большая комната, голые стены из претолстых новых сосновых бревен, сильный смолистый запах; яркое, кажется, летнее, солнце только что всходит и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога, который был надо мною опущен, ярко отражается на противоположной стене... Подле меня тревожно спит, без подушек и нераздетая, моя мать. Как теперь гляжу на черную ее косу, растрепавшуюся по худому и желтому ее лицу. Меня накануне привезли в подгородную деревню Зубовку, верстах в десяти от Уфы. Видно, дорога и произведенный движением спокойный сон подкрепили меня; мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел поберечь сна бедной моей матери, тронул ее рукой и сказал: «Ах, какое солнышко! как хорошо пахнет!» Мать вскочила, в испуге сначала, и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала... этого не расскажешь! Полог подняли; я попросил есть, меня покормили и дали мне выпить полрюмки старого рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым, широким, круглым дном и длин-

ною узенькою шейкою. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом, по просьбе моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла понемножку, застывая и засыхая на дороге и висая в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которою курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми и прозрачными смоляными сосульками; они растаяли у меня в руках и склеили мои худые, длинные пальцы; мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать... Предметы начали мешаться в моих глазах; мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство и я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица... Как заснул я и что было после – ничего не помню.

Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряженной лошадьми, не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька держит меня на руках, одетого очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор; что я хнычу, повторяя слабым голосом: «Супу, супу», – которого мне давали понемножку, несмотря на болезненный, мучительный голод, сменявшийся иногда совершенным отвращением от пищи. Мне сказывали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и, наконец, залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы; а может быть, что мнительность, излишние опасения страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиною отчаянного положения, в котором я находился.

Я иногда лежал в забытии, в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком; пульс почти переставал биться, дыханье было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтоб узнать, жив ли я; но я помню многое, что делали со мной в то время и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, – что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть: доктора – по несомненным медицинским признакам, а окружающие – по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых оказались на мне весьма убедительно. Страданий матери моей описать невозможно, но восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда ее не оставляли. «Матушка Софья Николаевна, – не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чепрунова, – перестань ты мучить свое дитя; ведь уж и доктора и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле Божией: положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти с покоем из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь ее, а пособить не можешь...» Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что, покуда искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать все, что может, для моего спасения, – и снова клала меня, бесчувственного, в крепительную ванну, вливая в рот рейнвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла легкие мои своим дыханьем – и я, после глубокого вздоха, начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить, и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике; разумеется, все это делал я, лежа в кровати, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное мое удовольствие состояло в том, что приносили ко мне мою милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с нею против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице.



Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно: то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам; один раз, не знаю куда, сделали мы большое путешествие; отец был с нами. Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени деревьев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться – и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду; я слышал, как толковали об этом; развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной римской ромашки с рейнвейном, приготовили кушанье, обедали, и все отдыхали, даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером,

несмотря на мои просьбы и слезы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя также свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделю не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась Богу и решила оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров; но все это время, от кормежки на лесной поляне до настоящего выздоровления, почти совершенно изгладилось из моей памяти. Впрочем, одно происшествие я помню довольно ясно: оно случилось, по уверению меня окружающих, в самой середине моего выздоровления...

Чувство жалости ко всему страдающему доходило во мне, в первое время моего выздоровления, до болезненного излишества. Прежде всего это чувство обратилось на мою маленькую сестрицу: я не мог видеть и слышать ее слез или крика и сейчас начинал сам плакать; она же была в это время нездорова. Сначала мать приказала было перевести ее в другую комнату; но я, заметив это, пришел в такое волнение и тоску, как мне после говорили, что поспешили возвратить мне мою сестрицу. Медленно поправляясь, я не скоро начал ходить и сначала целые дни, лежа в своей кроватке и посадив к себе сестру, забавлял ее разными игрушками или показываньем картинок. Игрушки у нас были самые простые: небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками; я строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув своей ручонкой. Потом начал я бродить и сидеть на окошке, растворенном прямо в сад. Всякая птичка, даже воробей, привлекала мое внимание и доставляла мне большое удовольствие. Мать, которая все свободное время от посещения гостей и хозяйственных забот проводила около меня, сейчас достала мне клетку с птичками и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроваткой. Мне рассказывали, что я пришел от них в такое восхищение и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке (с этой минуты я все уже твердо помню), услышал я какой-то жалобный визг в саду; мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это плачет, что, «верно, кому-нибудь больно», — мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого, щеночка, который, весь дрожа и нетвердо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или *сучал*, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем. Мать приказала принести на блюдечке тепленького молочка, и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выучили его лакать. С этих пор щенка по целым часам со мной не расставался; кормить его по несколько раз в день сделалось моей любимой забавой; его называли Суркой, он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.

Выздоровление мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию Божию, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титул моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться Богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана, и четыре стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Все это, к сожалению, давно исчезло без следа.

Я приписываю мое спасение, кроме первой вышеприведенной причины, без которой ничто совершиться не могло, — неусыпному уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. Внимание и попечение было вот какое: постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как говорится, с копейки на копейку, моя

мать доставала старый рейнвейн в Казани, почти за пятьсот верст, через старинного приятеля своего покойного отца, кажется доктора Рейслейна, за вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его понемногу, несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов – и каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по три белых хлеба. Я сказал об этом для примера; точно то же соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни; едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыханья. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге или сказал доктор – не знаю. Чудное целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что двенадцатичасовое лежанье в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему.

Последовательные воспоминания

После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже дитятей, не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но тихим, кротким, необыкновенно жалостливым, большим трусом и в то же время беспрестанно, хотя медленно, уже читающим детскую книжку с картинками, под названием «Зеркало добродетели». Как и когда я выучился читать, кто меня учил и по какой методе – решительно не знаю; но писать я учился гораздо позднее и как-то очень медленно и долго. Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за триста рублей ассигнациями. Дом был обит тесом, но не выкрашен; он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались аршина три над землей; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, и с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальни, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна, что очень веселило меня и неразлучного моего товарища – маленькую сестрицу. Сад, впрочем, был хотя довольно велик, но некрасив: кое-где ягодные кусты смородины, крыжовника и барбариса, десятка два-три тощих яблонь, круглые цветники с ноготками, шафранами и астрами, и ни одного большого дерева, никакой тени; но и этот сад доставлял нам удовольствие, особенно моей сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов; я же изъездил, как говорили, более пятисот верст: несмотря на мое болезненное состояние, величие красот Божьего мира незаметно ложилось на детскую душу и жило без моего ведома в моем воображении; я не мог удовольствоваться нашим бедным городским садом и беспрестанно рассказывал моей сестре, как человек бывалый, о разных чудесах, мною виденных; она слушала с любопытством, устремив на меня, полные напряженного внимания, свои прекрасные глазки, в которых в то же время ясно выражалось: «Братец, я ничего не понимаю». Да и что мудреного: рассказчику только пошел пятый год, а слушательнице – третий.

Я сказал уже, что был робок и даже трусоват, вероятно, тяжкая и продолжительная болезнь ослабила, утончила, довела до крайней восприимчивости мои нервы, а может быть, и от природы я не имел храбрости. Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки. Хотя она, собственно, ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала и хотя мать строго запрещала ей даже разговаривать со мною, но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днем боялся темных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно темные, потому что окна из них выходили в длинные сени, служившие коридором; в одной из них помещался буфет, а другая была заперта; она некогда служила рабочим кабинетом покойному отцу моей матери; там были собраны все его вещи: письменный стол, кресло, шкаф с книгами и проч. Нянька сказала мне, что там видят иногда покойного моего дедушку Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо нее, всегда зажмуривал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома. Когда она воротилась и я рассказал ей обо всем случившемся и обо всем, слышанном мною от няни, она очень рассердилась: приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха, насильно и показала, что там никого нет и что на креслах висело какое-то белье. Она употребила все

усилия растолковать мне, что такие рассказы – вздор и выдумки глупого невежества. Няньку мою она прогнала и несколько дней не позволяла ей входить в нашу детскую. Но крайность заставила призвать эту женщину и опять приставить к нам; разумеется, строго запретили ей рассказывать подобный вздор и взяли с нее клятвенное обещание никогда не говорить о простонародных предрассудках и поверьях; но это не вылечило меня от страха. Нянька наша была странная старуха, она была очень к нам привязана, и мы с сестрой ее очень любили. Когда ее сослали в людскую и ей не позволено было даже входить в дом, она прокрадывалась к нам ночью, целовала нас сонных и плакала. Я это видел сам, потому что один раз ее ласки разбудили меня. Она ходила за нами очень усердно, но, по закоренелому упрямству и невежеству, не понимала требований моей матери и потихоньку делала ей все наперекор. Через год ее совсем отослали в деревню. Я долго тосковал: я не умел понять, за что маменька так часто гневалась на добрую няню, и оставался в том убеждении, что мать просто ее не любила.

Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели»² моей маленькой сестрице, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю; но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они, против других, ничего особенного не имеют. Это «Признательный лев» и «Сам себя одевающий мальчик»³. Я помню даже физиономию льва и мальчика! Наконец «Зеркало добродетели» перестало поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребяческому любопытству, мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде; тех книг, которые читывали иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Я принялся было за Домашний лечебник Бухана⁴, но и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудобным; впрочем, она выбирала некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла мне их читать; и это было в самом деле интересное чтение, потому что там описывались все травы, соли, корни и все медицинские снадобья, о которых только упоминается в лечебнике. Я перечитывал эти описания уже гораздо в позднейшем возрасте и всегда с удовольствием, потому что все это изложено и переведено на русский язык очень толково и хорошо. Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме С. И. Аничков, старый богатый холостяк, слывший очень умным и даже ученым человеком; это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериною Второй для рассмотрения существующих законов. Аничков очень гордился, как мне рассказывали, своим депутатством и смело поговаривал о своих речах и действиях, не принеся, впрочем, по его собственному признанию, никакой пользы. Аничкова не любили, а только уважали и даже прибаивались его резкого языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил и даже давал займы денег, которых просить у него никто не смел. Он слышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно, был покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он человека за мною; меня повел сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен; велел подать связку книг и подарил мне... о счастье!.. «Детское чтение для сердца и

² «Зеркало добродетели» – сочинение Кейля «Зеркало добродетели и благонравия для детей», переведенное с немецкого в 1794 г.

³ «Признательный лев» и «Сам себя одевающий мальчик» – рассказы «Награжденное сострадание» и «Сам себе служащий мальчик» из «Зеркала добродетели».

⁴ Домашний лечебник Бухана – книга английского врача Вильяма Бухана. На русский язык переведена в 1790–1792 гг.

разума»⁵, изданное безденежно при «Московских ведомостях» Н. И. Новиковым. Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, оставя своего отца беседовать с Аничковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть – и позабыл все меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери все происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моем возвращении. Меня отыскивали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слезы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слез, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому иступленному чтению: книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные, назначенные ею, часы. Книжек всего было двенадцать, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание «Детского чтения», состоявшего из двадцати частей. Я читал свои книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир... Я узнал в «рассуждении о громах», что такое молния, воздух, облака; узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее. Муравьи, пчелы и особенно бабочки с своими превращениями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду и наконец из хризалиды в красивую бабочку – овладели моим вниманием и сочувствием; я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами. Собственно нравоучительные статьи производили менее впечатления, но как забавляли меня «смешной способ ловить обезьян» и басня «о старом волке», которого все пастухи от себя прогоняли! Как восхищался я «золотыми рыбками»!

С некоторого времени стал я замечать, что мать моя нездорова. Она не лежала в постели, но худела, бледнела и теряла силы с каждым днем. Нездоровье началось давно, но я этого сперва не видел и не понимал причины, от чего оно происходило. Только впоследствии узнал я из разговоров меня окружавших людей, что мать сделалась больна от телесного истощения и душевных страданий во время моей болезни. Ежеминутная опасность потерять страстно любимое дитя и усилия сохранить его напрягали ее нервы и придавали ей неестественные силы и как бы искусственную бодрость; но когда опасность миновалась – общая энергия упала и мать начала чувствовать ослабление: у нее заболела грудь, бок, и, наконец, появилось лихорадочное состояние; те же самые доктора, которые так безуспешно лечили меня и которых она бросила, принялись лечить ее. Я услышал, как она говорила моему отцу, что у нее начинается чахотка. Я не знаю, до какой степени это было справедливо, потому что больная была, как все утверждали, очень мнительна, и не знаю, притворно или искренне, но мой отец и доктора уверяли ее, что это неправда. Я имел уже смутное понятие, что чахотка какая-то ужасная болезнь. Сердце у меня замерло от страха, и мысль, что я причиною болезни матери, мучила меня беспрестанно. Я стал плакать и тосковать, но мать умела как-то меня разуверить и успокоить, что было и нетрудно при ее беспредельной нравственной власти надо мною.

Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решила ехать в Оренбург, чтоб посоветоваться там с доктором Деобольтом, который славился во всем крае

⁵ «Детское чтение для сердца и разума» – первый детский журнал в России. Выходил как еженедельное приложение к газете «Московские ведомости», издававшейся в 1785–1789 гг. Н. И. Новиковым.

чудесными излечениями отчаянно больных. Она сама сказала мне об этом с веселым видом и уверила, что возвратится здоровою. Я совершенно поверил, успокоился, даже повеселел и начал приставать к матери, чтоб она ехала поскорее. Но для этой поездки надобно было иметь деньги, а притом куда девать, на кого оставить двух маленьких детей? Я вслушивался в беспрестанные разговоры об этом между отцом и матерью и наконец узнал, что дело уладилось: денег дал тот же мой книжный благодетель С. И. Аничков, а детей, то есть нас с сестрой, решились завезти в Багрово и оставить у бабушки с дедушкой. Я был очень доволен, узнав, что мы поедем на своих лошадях и что будем в поле кормить. У меня сохранилось неясное, но самое приятное воспоминание о дороге, которую мой отец очень любил; его рассказы о ней и еще более о Багрове, обещавшие множество новых, еще неизвестных мне удовольствий, воспламенили мое ребячье воображение. Дедушку с бабушкой мне также хотелось видеть, потому что я хотя и видел их, но помнить не мог: в первый мой приезд в Багрово мне было восемь месяцев; но мать рассказывала, что дедушка был нам очень рад и что он давно зовет нас к себе и даже сердится, что мы в четыре года ни разу у него не побывали. Моя продолжительная болезнь, медленное выздоровление и потом нездоровье матери были тому причиной. Впрочем, мой отец ездил прошлого года в Багрово, однако на самое короткое время. По обыкновению, вследствие природного моего свойства делиться моими впечатлениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать маленькой моей сестрице, а потом объяснять и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался прежде всех: уложил свои книжки, то есть «Детское чтение» и «Зеркало добродетели», в которое, однако, я уже давно не заглядывал; не забыл также и чурочки, чтоб играть ими с сестрицей; две книжки «Детского чтения», которые я перечитывал уже в третий раз, оставил на дорогу и с радостным лицом прибежал сказать матери, что я готов ехать и что мне жаль только оставить Сурку. Мать сидела в креслах, печальная и утомленная сборами, хотя она распоряжалась ими, не вставая с места. Она улыбнулась моим словам и так взглянула на меня, что я хотя не мог понять выражения этого взгляда, но был поражен им. Сердце у меня опять замерло, и я готов был заплакать; но мать приласкала меня, успокоила, ободрила и приказала мне идти в детскую – читать свою книжку и занимать сестрицу, прибавя, что ей теперь некогда с нами быть и что она поручает мне смотреть за сестрою; я повиновался и медленно пошел назад: какая-то грусть вдруг отравила мою веселость, и даже мысль, что мне поручают мою сестрицу, что в другое время было бы мне очень приятно и лестно, теперь не утешила меня. Сборы продолжались еще несколько дней, наконец все было готово.

Дорога до Парашина

В жаркое летнее утро, это было в исходе июля, разбудили нас с сестрой ранее обыкновенного; напоили чаем за маленьким нашим столиком; подали карету к крыльцу, и, помолвившись Богу, мы все пошли садиться. Для матери было так устроено, что она могла лежать; рядом с нею сел отец, а против него нянька с моей сестрицей, я же стоял у каретного окна, придерживаемый отцом и помещаясь везде, где открывалось местечко. Спуск к реке Белой был так крут, что понадобилось подтормозить два колеса. Мы с отцом и няня с сестрицей шли с горы пешком.

Здесь начинается ряд еще не испытанных мною впечатлений. Я не один уже раз переправлялся через Белую, но, по тогдашнему болезненному моему состоянию и почти младенческому возрасту, ничего этого не заметил и не почувствовал; теперь же я был поражен широкою и быстрою рекою, отлогими песчаными ее берегами и зеленою уремой на противоположном берегу. Нашу карету и повозку стали грузить на паром, а нам подали большую косную лодку, на которую мы все должны были перейти по двум доскам, положенным с берега на край лодки; перевозчики в пестрых мордовских рубахах, бредя по колени в воде, повели под руки мою мать и няньку с сестрицей; вдруг один из перевозчиков, рослый и загорелый, схватил меня на руки и понес прямо по воде в лодку, а отец пошел рядом по дощечке, улыбаясь и ободряя меня, потому что я, по своей трусости, от которой еще не освободился, очень испугался такого неожиданного путешествия. Четверо гребцов сели в весла, перенесший меня человек взялся за кормовое весло, оттолкнулись от берега шестом, все пятеро перевозчиков перекрестились, кормчий громко сказал: «Призывай Бога на помощь», и лодка полетела поперек реки, скользя по вертящейся быстрине, бегущей у самого берега, называющейся «стремя». Я был так поражен этим невиданным зрелищем, что совершенно онемел и не отвечал ни одного слова на вопросы отца и матери. Все смеялись, говоря, что от страха у меня язык отнялся, но это было не совсем справедливо: я был подавлен не столько страхом, сколько новостью предметов и величием картины, красоту которой я чувствовал, хотя объяснить, конечно, не умел. Когда мы стали подплывать к другому, отлогому берегу и, по мелкому месту, пошли на шестах к пристани, я уже совершенно опомнился и мне стало так весело, как никогда не бывало. Белые, чистые пески с грядами разноцветной гальки, то есть камешков, широко расстилались перед нами. Один из гребцов соскочил в воду, подвел лодку за носовую веревку к пристани и крепко привязал к причалу; другой гребец сделал то же с кормою, и мы все преспокойно вышли на пристань. Сколько новых предметов, сколько новых слов! Тут мой язык уже развязался, и я с большим любопытством стал расспрашивать обо всем наших перевозчиков. Я не могу забыть, как эти добрые люди ласково, просто и толково отвечали мне на мои бесчисленные вопросы и как они были благодарны, когда отец дал им что-то за труды. С нами на лодке был ковер и подушки, мы разостлали их на сухом песке, подальше от воды, потому что мать боялась сырости, и она прилегла на них, меня же отец повел набирать галечки. Я не имел о них понятия и пришел в восхищение, когда отец отыскал мне несколько прекрасных, гладких, блестящих разными цветами камешков, из которых некоторые имели очень красивую, затейливую фигуру. В самом деле, нигде нельзя отыскать такого разнообразия гальки, как на реке Белой; в этом я убедился впоследствии. Мы тут же нашли несколько окаменелостей, которые и после долго у нас хранились и которые можно назвать редкостью; это был большой кусок пчелиного сота и довольно большая лепешка или кучка рыбьей икры, совершенно превратившаяся в камень. Переправа кареты, кибитки и девяти лошадей продолжалась довольно долго, и я успел набрать целую кучу чудесных, по моему мнению, камешков; но я очень огорчился, когда отец не позволил мне их взять с собою, а выбрал только десятка полтора, сказав, что все остальные дрянь; я доказывал про-

тивное, но меня не послушали, и я с большим сожалением оставил набранную мною кучку. Мы сели в карету и отправились в дальнейший путь. Мать как будто освежилась на открытом воздухе, и я с жаром начал ей показывать и рассказывать о найденных мною драгоценностях, которыми были набиты мои карманы; камешки очень понравились моей сестрице, и некоторые из них я подарил ей. В нашей карете было много дорожных ящиков, один из них мать опростала и отдала в мое распоряжение, и я с большим старанием уложил в него свои сокровища.

Сначала дорога шла лесистой уремой; огромные дубы, вязы и осокори поражали меня своею громадностью, и я беспрестанно вскрикивал: «Ах, какое дерево! Как оно называется?» Отец удовлетворял моему любопытству; дорога была песчана, мы ехали шагом, люди шли пешком; они срывали мне листья и ветки с разных деревьев и подавали в карету, и я с большим удовольствием рассматривал и замечал их особенности. День был очень жаркий, и мы, отъехав верст пятнадцать, остановились покормить лошадей собственно для того, чтоб мать моя не слишком утомилась от перевоза через реку и переезда. Эта первая кормежка случилась не в поле, а в какой-то русской деревушке, которую я очень мало помню; но зато отец обещал мне на другой день кормежку на реке Дёме, где хотел показать мне какую-то рыбную ловлю, о которой я знал только по его же рассказам. Во время отдыха в поднавесе крестьянского двора отец мой занимался приготовлением удочек для меня и для себя. Это опять было для меня новое удовольствие. Выдернули волос из лошадиных хвостов и принялись сучить лесы; я сам держал связанные волосы, а отец вил из них тоненькую ниточку, называемую лесой. Нам помогал Ефрем Евсеев, очень добрый и любивший меня слуга. Он не вил, а сучил как-то на своей коленке толстые лесы для крупной рыбы; грузила и крючки, припасенные заранее, были прикреплены и навязаны, и все эти принадлежности, узнанные мною в первый раз, были намотаны на палочки, завернуты в бумажки и положены для сохранения в мой ящик. С каким вниманием и любопытством смотрел я на эти новые для меня предметы, как скоро понимал их назначение и как легко и твердо выучивал их названия! Ночевать мы должны были в татарской деревне, но вечер был так хорош, что матери моей захотелось остановиться в поле; итак, у самой околицы своротили мы немного в сторону и расположились на крутом берегу маленькой речки. Ночевки в поле никто не ожидал. Отец думал, что мать побоится ночной сырости; но место было необыкновенно сухо, никаких болот, и даже лесу не находилось поблизости, потому что начиналась уже башкирская степь; даже влажности ночного воздуха не было слышно. Для меня опять готовилось новое зрелище; отложили лошадей, хотели спутать и пустить в поле, но как степные травы погорели от солнца и завяли, то послали в деревню за свежим сеном и овсом и за всякими съестными припасами. Люди принялись разводить огонь: один принес сухую жердь от околицы, изрубил ее на поленья, настрогал стружек и наколот лучины для подтопки, другой притащил целый ворох хворосту с речки, а третий, именно повар Макей, достал кремень и огниво, вырубил огня на большой кусок труту, завернул его в сухую куделю (ее возили нарочно с собой для таких случаев), взял в руку и начал проворно махать взад и вперед, вниз и вверх и махал до тех пор, пока куделя вспыхнула; тогда подложили огонь под готовый костер дров со стружками и лучиной — и пламя запылало. Стали накладывать дорожный самовар; на разостланном ковре и на подушках лежала мать и готовилась наливать чай; она чувствовала себя бодрее. Я попросил позволения развести маленький огонек возле того места, где мы сидели, и когда получил позволение, то, не помня себя от радости, принялся хлопотать об этом с помощью Ефрема, который в дороге вдруг сделался моим как будто дядькой. Разведение огня доставило мне такое удовольствие, что я и пересказать не могу; я беспрестанно бегал от большого костра к маленькому, приносил щепочек, прутьев и сухого бастыльнику для поддержания яркого пламени и так суетился, что мать принуждена была посадить меня насильно подле себя. Мы напились чаю и поели супу из курицы, который сварил нам повар.

Мать расположилась ночевать с детьми в карете, а отец – в кибитке. Мать скоро легла и положила с собой мою сестрицу, которая давно уже спала на руках няньки; но мне не хотелось спать, и я остался посидеть с отцом и поговорить о завтрашней кормежке, которую я ожидал с радостным нетерпением; но посреди разговоров мы оба как-то задумались и долго просидели, не говоря ни одного слова. Небо сверкало звездами, воздух был наполнен благоуханием от засыхающих степных трав, речка журчала в овраге, костер пылал и ярко освещал наших людей, которые сидели около котла с горячей кашницей, хлебали ее и весело разговаривали между собою; лошади, припущенные к овсу, также были освещены с одной стороны полосой света... «Не пора ли спать тебе, Сережа?» – сказал мой отец после долгого молчания; поцеловал меня, перекрестил и бережно, чтоб не разбудить мать, посадил в карету. Я не вдруг заснул. Столько увидел и узнал я в этот день, что детское мое воображение продолжало представлять мне в каком-то смещении все картины и образы, носившиеся предо мною. А что же будет завтра, на чудесной Дёме... Наконец сон одолел меня, и я заснул в каком-то блаженном упоении.

С ночевки поднялись так рано, что еще не совсем было светло, когда отец сел к нам в карету. Он сел с большим трудом, потому что от спавших детей стало теснее. Я видел, будто сквозь сон, как он садился, как тронулась карета с места и шагом проезжала через деревню, и слышал, как лай собак долго провожал нас; потом крепко заснул и проснулся, когда уже мы проехали половину степи, которую нам надобно было перебить поперек и проехать сорок верст, не встретив жилья человеческого. Когда я открыл глаза, все уже давно проснулись, даже моя сестрица сидела на руках у отца, смотрела в отворенное окно и что-то весело лепетала. Мать сказала, что чувствует себя лучше, что она устала лежать и что ей хочется посидеть. Мы остановились, и все вышли из кареты, чтоб переладить в ней ночное устройство на дневное. Степь, то есть безлесная и волнообразная бесконечная равнина, окружала нас со всех сторон; кое-где виднелись деревья и синелось что-то вдаль; отец мой сказал, что там течет Дёма и что это синее ее гористая сторона, покрытая лесом. Степь не была уже так хороша и свежа, как бывает весною и в самом начале лета, какою описывал ее мне отец и какою я после сам узнал ее: по долочкам трава была скошена и сметана в стога, а по другим местам она выгорела от летнего солнца, засохла и пожелтела, и уже сизый ковыль, еще не совсем распутившийся, еще не побелевший, расстилался, как волны, по необозримой равнине; степь была тиха, и ни один птичий голос не оживлял этой тишины; отец толковал мне, что теперь вся степная птица уже не кричит, а прячется с молодыми детьми по низким ложбинкам, где трава выше и гуще. Мы уселись в карете по-прежнему и взяли к себе няню, которая опять стала держать на руках мою сестрицу. Мать весело разговаривала с нами, и я неумолкаемо болтал о вчерашнем дне; она напомнила мне о моих книжках, и я признался, что даже позабыл о них. Я достал, однако, одну часть «Детского чтения» и стал читать, но был так развлечен, что в первый раз чтение не овладело моим вниманием, и, читая громко вслух: «Канарейки, хорошие канарейки, так кричал мужик под Машиным окошком» и проч., я думал о другом, и всего более о текущей там, вдалеке, Дёме. Видя мою рассеянность, отец с матерью не могли удержаться от смеха, а мне было как-то досадно на себя и неловко. Наконец, кончив повесть об умершей с голоду канарейке и не разжалобясь, как бывало прежде, я попросил позволения закрыть книжку и стал смотреть в окно, пристально следя за синеющей в стороне далью, которая как будто сближалась с нами и шла пересечь нашу дорогу; дорога начала неприметно склоняться под изволок, и кучер Трофим, тряхнув вожжами, весело крикнул: «Эх вы, милые, пошевеливайтесь! Недалеко до Дёмы!..» И добрые кони наши побежали крупною рысью. Уже обозначилась зеленеющая долина, по которой текла река, ведя за собою густую, также зеленую урему. «А вон, Сережа, – сказал отец, выглянув в окно, – видишь, как прямо к Дёме идет тоже зеленая полоса и как в разных местах по ней торчат беловатые острые шиши? Это башкирские войлочные кибитки,

в которых они живут по летам, это башкирские «кочи». Кабы было поближе, я сводил бы тебя посмотреть на них. Ну, да когда-нибудь после». Я с любопытством рассматривал видневшиеся вдалеке летние жилища башкирцев и пасущиеся кругом их стада и табуны. Обо всем этом я слышал от отца, но видел своими глазами в первый раз. Вот уже открылась и река, и множество озер, и прежнее русло Дёмы, по которому она текла некогда, которое тянулось длинным рукавом и называлось *Старицей*. Спуск в широкую зеленую долину был крут и косогорист; надобно было тормозить карету и спускаться осторожно; это замедление раздражало мою нетерпеливость, и я бросался от одного окошка к другому и суетился, как будто мог ускорить приближение желанной кормежки. Мне велели сидеть смирно на месте, и я должен был нехотя уgomониться. Но вот мы наконец на берегу Дёмы, у самого перевоза; карета своротила в сторону, остановилась под тенью исполинского осокоря, дверцы отворились, и первый выскочил я – и так проворно, что забыл свои удочки в ящике. Отец, улыбнувшись, напомнил мне о том и на мои просьбы идти поскорее удить сказал мне, чтоб я не торопился и подождал, покуда он все уладит около моей матери и распорядится кормом лошадей. «А ты погуляй покуда с Ефремом, посмотри на перевоз, да червячков приготовь». Я схватил Ефрема за руку, и мы пошли на перевоз. Величавая, полноводная Дёма, не широкая, не слишком быстрая, с какою-то необыкновенною красотой, тихо и плавно, наравне с берегами, расстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске воды, когда щука или жерех выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой. По обоим берегам реки было врыто по толстому столбу, к ним крепко был привязан мокрый канат, толщиной в руку; по канату ходил плот, похожий устройством на деревянный пол в комнате, утверждённый на двух выдолбленных огромных деревянных колодах, которые назывались там «комьями». Скоро я увидел, что один человек мог легко перегонять этот плот с одного берега на другой. Двое перевозчиков были башкирцы, в остроконечных своих войлочных шапках, говорившие ломаным русским языком. Ефрем, или Евсеич, как я его звал, держа меня крепко за руку, вошел со мною на плот и сказал одному башкирцу: «Айда знаком, гуляй на другой сторона». И башкирец очень охотно, отвязав плот от причала, засучив свои жилистые руки, став лицом к противоположному берегу, упершись ногами, начал тянуть к себе канат обеими руками, и плот, отделяясь от берега, поплыл поперек реки; через несколько минут мы были на том берегу, и Евсеич, все держа меня за руку, походив по берегу, повысмотрев выгодных мест для ужения, до которого был страстный охотник, таким же порядком воротился со мною назад. Тут начал он толковать с обоими перевозчиками, которые жили постоянно на берегу в плетеном шалаше; немилосердно коверкая русский язык, думая, что так будет понятнее, и примешивая татарские слова, спрашивал он: где бы отыскать нам червячков для ужения. Один из башкирцев скоро догадался, о чем идет дело, и отвечал: «Екши, екши, бачка, ладно! Айда», – и повел нас под небольшую поветь, под которой стояли две лошади в защите от солнца: там мы нашли в изобилии, чего желали. Подойдя к карете, я увидел, что все было устроено: мать расположилась в тени кудрявого осокоря, погребец был раскрыт, и самовар закипал. Все припасы для обеда были закуплены с вечера в татарской деревне, не забыли и овса, а свежей, сейчас накошенной травы для лошадей купили у башкирцев. Великолепная урема окружала нас. Необыкновенное разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, живописно перемешанных, поражало своей красотой. Толстые, как бревна, черемухи были покрыты уже потемневшими ягодами; кисти рябины и калины начинали краснеть; кусты черной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах; гибкие и цепкие стебли ежевики, покрытые крупными, еще зелеными ягодами, обвивались около всего, к чему только прикасались; даже малины было много. На все это очень любовался и указывал мне отец; но, признаюсь, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружающую меня пышную и красивую урему. Как только

мы напились чаю, я стал просить отца, чтоб он показал мне ужение. Наконец мы пошли, и Евсеич с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилищ, наплавки сделали из толстого зеленого камыша, лесы привязали и стали удить с плоту, поверя словам башкирцев, что тут «ай-ай, больно хороша берет рыба». Евсеич приготовил мне самое легонькое удилище и навязал тонкую лесу с маленьким крючком; он насадил крошечный кусочек мятого хлеба, закинул удочку и дал мне удилище в правую руку, а за левую крепко держал меня отец; ту же минуту наплавков привстал и погрузился в воду. Евсеич закричал: «Тащи, тащи...» – и я с большим трудом вытащил порядочную плотичку. Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости. Я схватил свою добычу обеими руками и побежал показать ее матери; Евсеич провожал меня. Мать не хотела верить, чтоб я мог сам поймать рыбу, но, задыхаясь и заикаясь от горячности, я уверял ее, ссылаясь на Евсеича, что точно я вытащил сам эту прекрасную рыбку; Евсеич подтвердил мои слова. Мать не имела расположения к ужению, даже не любила его, и мне было очень больно, что она холодно приняла мою радость; а к большому горю, мать, увидя меня в таком волнении, сказала, что это мне вредно, и прибавила, что не пустит, покуда я не успокоюсь. Она посадила меня подле себя и послала Евсеича сказать моему отцу, что придет Сережу, когда он отдохнет и придет в себя. Это был для меня неожиданный удар; слезы так и брызнули из моих глаз, но мать имела твердость не пустить меня, покуда я не успокоился совершенно. Немного погодя отец сам пришел за мной. Мать была недовольна. Она сказала, что, отпуская меня, и не воображала, что я сам стану удить. Но отец уговорил мать позволить мне на этот раз поймать еще несколько рыбок, и мать, хотя не скоро, согласилась. Как я благодарил моего отца! Я не знаю, что бы сделалось со мной, если б меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал с горя. Сестрица стала проситься со мной, и как ужение было всего шагах в пятидесяти, то отпустили и ее с няней посмотреть на наше рыболовство. Когда мы пришли, отец показал мне несколько крупных окуней и плотниц, которых он выудил без меня: другая рыба в это время не брала, потому что было уже поздно и жарко, как объяснял мне Евсеич. Я выудил еще несколько плотичек, и всякий раз почти с таким же восхищением, как и первую. Но как мать отпустила меня на короткое время, то мы скоро воротились. Отец приказал повару Макею сварить и зажарить несколько крупных окуней, а всю остальную рыбу отдал людям, чтоб они сварили себе уху.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.